

КРЫМКА



Петр
ПАЛАМАРЧУК

ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ ПАЛАМАРЧУК РОДИЛСЯ В 1956 ГОДУ В МОСКВЕ. ЗАКОНЧИЛ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. АВТОР БОЛЕЕ 10 КНИГ ПРОЗЫ. ЧЛЕН СП СССР.

С выходом в июне нынешнего, 1991 года двухтомника «Апрель Семнадцатого» завершено более чем полувековое труд Александра Солженицына — «повествование в отмеренных сроках «Красное Колесо». Книга написана за шесть лет, с 1984 по 1989, в Вермонте (для отечественного читателя и издателя небезынтересно знать, что объемистое издание — более 1300 страниц, часто петитом, да еще и в нескольких разных шрифтах — напечатано было в Париже всего за месяц).

«Апрель» — начало IV Узла эпопеи, которая первоначально должна была содержать их всего двадцать. Однако вместо остального в конце второго тома помещен лишь сжатый очерк «На обрыве повествования», который писатель предваряет таким предисловием:

«Много лет назад эта книга (1914—1922) была задумана в двадцати Узлах, каждый по тому. В ходе непрерывной работы с 1969 материал продиктовал иначе.

Центр тяжести сместился на Февральскую революцию. Уже и «Апрель Семнадцатого» выявляет вполне ясную картину обреченности февральского режима — и нет другой решительной избранной динамичной силы в России, как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный. После апреля обстановка меняется скорее не качественно, а количественно.

К тому же и объем написанного и мой возраст заставляет прервать повествование.

Но для тех последующих Узлов я все же представляю читателю конспект главных событий. Итоговых черт, обобщений, если писать развернуто. (Для Семнадцатого года они разработаны в значительной подробности, также и с обзором мнений; затем — схематично).

Сюжеты с вымышленными персонажами я вовсе не включаю в конспект. 1990».

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

При не одной сотне действующих лиц, основным персонажем первых трех Узлов «Колеса» можно смело назвать того, кто дал и само имя «первому действию» эпопеи, объединяющему их — Революцию. Название «действия второго» — «Народоправство», то есть точный русский перевод греческого «демократия».

Причем довольно скоро читатель приходит к мысли, что в сем наименовании содержится большая доля горькой насмешки. Ведь, как ни крути, правила тогда странной на пару, свергнув законную власть, никем не избранные «Временное правительство» и «Совет рабочих депутатов» — о последнем Гучков в сердцах замечает: «да каких там ч черту рабочих, там не рабочие верховодят» (Т. 1. С. 301. Далее ссылки в скобках в тексте с указанием тома и страницы).

Недаром достаточно быстро, когда всё в обществе и хозяйстве начинает приходить в расстройство, у разного рода людей начинают заводиться контрреволюционные соображения о том, что вот ведь: «Вся Россия годами, десятилетиями просто жила, привыкла жить, каждый по своим делам, и кому могло прийти в голову, что вся эта заведенность зависит от монархии?» (1, 251). И даже один из тайных двигателей отречения, начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев, которому ранее «нередко казалось, что Государь как бы вовсе ни при чем: не он прорабатывал ситуации, не он составлял решения» — с опозданием понимает: «А вот — он собою что-то осеял. Для многих Россия и Царь — были одно» (2, 444).

Однако многим первоначально предста-

влялось, что ничего особенного для них лично не произошло; а в Севастополе даже и красных флагов не подымали — «только перевернули национальные, так что красная полоса стала верхней» (1, 357). Между тем это и был цвет накатившего на всю страну Колеса.

ОБРАЗЫ НАРОДОПРАВСТВА

Четвертый Узел в новом блеске показал умение Солженицына-художника при минимальном вмешательстве в подлинные события извлечь из них высочайший символический смысл.

Вот вожakov «исполнительного комитета» (ИК) Совета «как-то ночью совсем замученных Чхеидзе, Дана и Гиммера развозил по квартирам автомобиль — и вдруг все разом увидели, и все трое испугались: шла большая ночная толпа, и у всех зажженные свечи, и все поют! Что еще за демонстрация? — ИК не назначал ее, и не был информирован, чего они хотят? А шофер сказал: да Пасха завтра. Ах, Пасха... Ну, совсем из головы» (1, 68).

Или так: главари исполкомовского большинства собираются на домашнее совещание по теме: что же делать с Временным правительством? Но: «К концу дебатов,

под испитыми и недопитыми стаканами, измазанными тарелками с раскрошенными пирожками, гофрированными бумажками из-под пирожных, сердечками яблок, переполненными пепельницами, где и мимо страшным пеплом, — голубая вышитая скатерть выглядела необещательно» (2, 160).

Облик второй как бы противостоящей Совету стороны, словно вспышкой в продолжение гоголевской «немой сцены «Ревизора», запечатлен в момент, когда возмущенный провокаторской стрельбой в народ командующий Петроградским округом генерал Корнилов является с вопросом: уполномочен ли он «использовать воинские части для охраны порядка? Он еще не сказал — где стрельба, кто стрелял, сколько жертв, что он понимает под охраной, но все члены правительства разом подкинули брови, стали клониться назад, назад, кто-то поднял пальцы, кисть, или руку — как от привидения или от черта, — и в этой общей несрепетированной мимической сцене генерал уже прочел ответ» (1, 519). Ему мысленно вторит случайно ставший свидетелем кровопролития адмирал Колчак: «Уверенность Колчака доплотилась: Временное правительство не способно управлять государством.

Нужна диктатура.

Всероссийская.

Да откуда её теперь взять?» (1, 522).

Впрочем, дело было не вовсе безнадежно, как показывает сценка с будущим белым героем, а покуда лишь есаулом Шкуро, который при помощи верных казаков сумел споро усмирить в Кишиневе разбушевавшихся дезертиров:

«А теперь — построиться, мерзавцы! — закричал толпе здоровой глоткой круглоголовый Шкуро.

И вся эта росхлябь быстро построилась, и руки по швам (А казаки — позади них). Поблагодарил казаков, а этим:

— Вы — банда хулиганов, а не воины Родины» (1, 137).

Явление совершенно обратного свойства — поведение «Ильича», засевшего в захваченном особняке Кшесинской, когда к нему с лозунгами вроде «Ленина и компанию — обратно в Германию!» подошли молоденькие гимназисты и потребовали, чтобы Ленин сам явился на балкон для разговора. Грозный вождь пролетариата горестно размышляет: «Да идиотское же положение! — неужели к ним выходить, это уже карикатурная дрянь получается. (Да один такой мальчишка из пистолета выстрелит — и что? Кто за это отвечает?). Объявили им с балкона, что Ленина здесь нет... А они — не поверили. И четыре часа — не уходили! И пришлось дурацки, ничтожно, когда надо было выехать — до двух часов дня сидеть затаенно, спрятавшись — от детишек. Вот уж — за пределами глупости, испортили весь день. Вот и рассчитывай темпы.

Мизер! Пигмейство...» (1, 159).

ОБЛИКИ НАРОДОПРАВЦЕВ

Второй отличительной чертой эпопеи Солженицына является обширнейшая галерея емких художественно-исторических

портретов, по мере нарастания революционного безумия превращающаяся в паноптикум. Он скромно печатает ее мелким шрифтом, разрешая торопящемуся читателю эти главы пролистывать мимо. Но скороспелый человек и не примет за чтение огромного десятитомника, — так что лукавый совет, кажется, следует понимать наоборот: чтение именно этих частей «повествования» доставляет высокое наслаждение, какими бы негодными не были их герои — писатель умеет с изощренной точностью высечь их собственными словами.

Подлинным открытием автора является фигура унтер-офицера Волынского полка Тимофея Кирпичникова, послужившего «спусковым крючком» солдатского бунта, переросшего в февральский мятеж. В «Марте Семнадцатого» он появляется впервые как такой «курок» в точном смысле слова, проливая кровь первого офицера и ею повязывая своих однополчан — отступать назад теперь некуда. Четырехтомный «Март» символически кончается его прогулкой по развороченному Петрограду и зачатками глубокого недоумения, когда ближайший спурчик по кровавому делу вопрошает его: «И как это мы, Тимофей, решились? Как это нас понесло в то утро? Самим дивно».

В «Апреле» Кирпичников предстает в неожиданной роли — одумавшись уже не на шутку, он замысливает теперь прикончить... Ленина:

«Приехал Ленин на второй день Пасхи, и за толику дней набурили они с балкона, что к концу Светлой недели Тимофей с ребятами уже и поговаривали: а сходить бы — да взять Ленина, арестовать? Мудрого ничего, пойти человек пятнадцать — двадцать, всем с винтовками заряженными, — и хватит? И кончить сразу, пристрелить гадину, — немцев-то и невинных стреляем, а этого чего жалеть? Да и живым его взять не трудней, чем языка на фронте. Неужто целую революцию заварить было легче, чем сейчас этого Ленина поймать?» (1, 505).

Красное Колесо, раскаченное разными людьми для своих собственных нужд, затем весьма немилосердно и беспощадно катится по ним самим. Вот иной деятель добродушный кадет Шингарев, сделавшийся министром земледелия, негаданно получает от близкого друга из провинции укоряющее письмо: «Андрей Иванович! Не верю глазам: когда же вы успели стать социалистом? И ваша ужасная хлебная монополия, и эти всевластные комитеты из охлократии — ведь вы же насаждаете в России социализм!».

Тер, тер лоб Андрей Иванович, тоже не веря глазам: социализм? он? Никогда...» (1, 286).

Через отрицание устами главаря эсеров Виктора Чернова показывает Солженицын поозорливую правоту знаменитого Льва Тихомирова, из народовольца выросшего в одного из сокровеннейших монархистов: «Как жестоко ошибся Тихомиров, — на радостях не замечает сути творящегося вокруг Чернов, — что революция наша будет якобинско-бланкистской, в подпольных рамках заранее сложится пред-государство, своего рода мафия, и цель ее будет один захват власти. Повторилась ожидавшая — и в самых светлых, бескровных формах» (1, 477).

Поистине до жути выразителен облик одного из первых заводил Февреля — Стеклова-Нахамкеса. На самом гребне людской славы его вдруг постигает «ужаснейший провал с фамилией: какая-то досужая сволочь, перебирая архивы правительственной канцелярии, обнаружила-таки его прошение на Высочайшее имя о смене фамилии Овсий Моисеевич Нахамкес — на Юрий Михайлович Стеклов. И не погасил, и не принес самому Стеклову, а стал показывать, и это уткнуло в буржуазную прессу, и теперь везде муссируется. А обращение к царю с какой-либо просьбой, «припадаю к стопам», издавна считалось не только среди революционеров, но и в обществе — самым последним наимпозорнейшим делом, хуже подлога, вооружения и совращения малолетних. Такое открытие — кончало всякую политическую карьеру, обычно после такого никто уже не принимался» (1, 578).

Однако Нахамкес был негодяем не из обычных — недаром же сделавшись уже после октябрьского переворота редактором «Известий» и «Нового мира». А покуда он, — ради возвращения доброго имени посы-

лает тайком к немцам гонца передать, что в Исполнительном Комитете есть первый заместитель Чхеидзе, видная фигура Стеклов, очень влиятельный, и готовый к переговорам о мире, можно будет обсудить и уступки территории и уплату за избыток наших военнопленных. Стеклов готов в любую минуту приехать на фронт, разговаривать с немецкими парламентариями, а без него переговоры не состоятся. И: если будет запрос — немедленно вызывайте меня из Петрограда!

Подарить России немедленный мир! — вот это был шаг ему по плечу. И Россия бы этого не забыла.

И — Интернационал» (1, 585).

Образчик героя предыдущего мятежа дан через тягостные думы идущего не по своей воле за его гробом при перезахоронении в Севастополе командующего Черноморским флотом: «по сведениям Колчака, когда бунт «Очакова» не удался — Шмидт покинул матросов и пытался бежать в наемном ялике. (А начальник севастопольской крепости Рерберг знал Шмидта по Либаве в 1904: был старшим офицером на транспорте «Иртыш», служил, хотя, спал в дневное время, небрежен в одежде, землистое неумытое лицо, допустил такой беспорядок на погрузке угля,

что любой грузчик мог потонуть и искалечиться. Он был уволен из флота как несоответствующий и числился в запасе. При сборе эскадры Рождественского — Шмидта сноза призвали, но, рассказывал Рерберг, с другим таким же офицером Муравьевым с угольщика «Анадырь» они устроили публичную драку на танцевальном вечере, и за то не были взяты в боевой поход, чего, очевидно, и добились. И теперь за его гробом пойдут герои Порт-Артура...»).

Идет и сам адмирал, ибо: «Революция любит спектакли. И поднимать идолов» (2, 387).

Порою для обрисовки пролетного персонажа хватает и двух-трех его собственных предложений да одного краткого примечания со стороны. Особенно когда отечественный читатель поневоле знает их дальнейшую службу делу революции. Вот на большевистском собрании выступают ленинские сторонники, а он сам как бы «про себя» дает им отзыв:

«Надо стараться развивать дальнейшую революцию, и землю конфисковать. Диктатура пролетариата — возможна (Голощекин, наш давний)... Временное правительство — никому не нужно, надо создавать комитеты, которые выразят волю народа. Вон, крестьяне, опережая нас, уже захватывают землю. (Молоденький Эпштейн-Яковлев, тоже будет кадр)» (1, 387). И ведь куда как верно: «наш давний» потом расстреляет царя, а «тоже кадр» будет тем самым «все решающим» министром, который проведет коллективизацию.

ЗАКОВКА ПУТЕЙ

Так называется последнее, пятное «действие» Красного Колеса, которое не дождалось воплощения. Тем не менее ростки нового строя начали приметно пробиваться действительно еще в апреле Семнадцатого — и здесь Солженицын вновь оказался прав, отказавшись от дальнейшего наблюдения за их прозябанием: воистину, для «ума внимательного нет границы там, где поставил точку я — продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как застывшие облака — и не кончается строка», как писал в завершающих строках романа «Дар» весьма почитаемый писателем Владимир Набоков.

А смогли они укорениться на русской почве в первую голову из-за того, что она была не вспахана, а разворочена войной; причем разлад и настроения начались как раз с армии.

Расстройство поразило ее сверху донизу. У самого высшего генералитета Колчак отмечал «бездарность, нет полета мысли, нет цельного чувства русской славы!» (1, 362). Разорвалась и связь офицеров с нижними чинами:

«Больше всего подкосила офицеров внезапная и не ожидавшая ими вражда от солдат. Те прежние безответные и на все готовые солдаты — как же они переменились! Эта даже непримиримость, эта даже ненависть к офицерам, которой никогда не знали раньше, — казалась чудовищной: откуда?! Мы воюем третий год

рядом, нас уравнивает смерть, — так откуда же? Поздним сознанием осеняло: они видят в нас, и не первый век — бар! и этого одного уже не могут нам простить никогда. Баре в военной форме — и еще загоняют продолжать войну... (А — какие тут бары? Дворянство уже десятилетиями отклонялось от военной службы, кроме гвардии, — не столько-то дворян в офицерстве. В Верховном Главнокомандовании, на фронтах, на армиях — почти одни разночинцы, и — ни одной знаменитой дворянской фамилии. Но — не прочтись за прежнее теперь ничто никому)» (1, 366).

Начали цепь своих предательств и союзники. «Надо теперь готовиться к разрыву союза с Россией, и сам разрыв без сантиментов использовать с выгодой — за счет России же», — размышляет французский посол Палеолог (1, 373) и шлет в свой МИД депешу: «...мы могли бы за счет нашей отпадающей союзницы извлечь из победы совокупность в высшей степени ценных выгод...» (1, 138).

А правительство Англии с готовной подлостью отказывается предоставить убежище царской семье — при том что английскому королевскому дому приходится род-

вать от Временного правительства признания этих комиссаров!» (1, 144).

Да и само слово «совет», тогда еще совсем недалеко ушедшее от исходного смысла, начинает постепенно забалтываться, хотя современники семнадцатого года пока еще иначе, чем мы сегодня, относятся ко все чаще летающим с языка понятиям вроде «советские социалисты» (1, 199). Генерал Гурко отказывается признать своеобразие другого явления новояза: «Теперь стали модны солдатские собрания под приклеенным английским «минтиги» (1, 227). А офицер Чернега возмущается: «и скажи, ну что такое за песня «Марсельеза», ну к ляду она нам, и куда ей до наших песен, хоть «Распрягайте, хлопцы, коней», а двадцать раз ее пропевали, и всем залом тоже пели, хоть мычи» (1, 277). Хитрый народный разум ловко обжил и иное заезжее определение: «режим» — особенно быстро усвоили: «Новый режим: раньше нас прижимали, а теперь мы будем!» (1, 329).

Особенно показателен в этом смысле язык Троцкого, которому посвящена последняя петитная биографическая глава эпопеи — в нем постоянно «проскальзывают» какие-то надменные оговорки: «ничем не могу помочь их печали... я не

ше, идут по указанным улицам, в указанном направлении, в предписанных рядах, — ведь это очень неестественно! А пение! — одни и те же песни в сотне разных колонн; а манера! — монотонная, то ли вынужденная, завороченная, — тон какого-то нового язычества» (1, 488).

ЗАКОН РЕВОЛЮЦИИ

Формально «Апрель» посвящен короткому времени (с 12 апреля по 5 мая 1917) так называемого первого кризиса Временного правительства, в итоге которого вынуждены были подать в отставку вожди кадетов Милюков и Гучков. Внутренний смысл его неизмеримо глубже, ибо на опыте этой первой сдачи показывается закономерность всех революций истории: «И кадеты, упустившие вчерашний неповторимый день, теперь торжественно воевали победу, — размышляет об этом монархист Шульгин, — так и не поняв, что это был их проигранный день. На том и прошел первый возвратный пароксизм революции. По опыту французских — они должны были теперь повторяться — и становиться острее» (1, 575). Потому что едино «свойство всех революций: ни одна не останавливается на полдороге,

из любимых автором героев — инженером Пальчинским, — навряд ли лишен вероятия: «Самое страшное... даже не эти социалисты из Исполнительного Комитета. Они — саранча, да. Но за эти два месяца — и весь наш рабочий класс... И весь народ наш... показали себя тоже саранчой.

И — что же дальше?

И — что же нам теперь?...» (2, 131).

ИСТОРИОСОФИЯ

Тем не менее положение не оценивается Солженицыным как окончательно проигранное. Об этом гласит поведение и мысли близких его сердцу действующих лиц повествования, начиная с прямых прообразов его собственных отца и матери — Сани и Ксеньи. В последней главе первого тома «Апреля» они наконец находят друг друга, а в одной из окончательных глав второго приходят к мудрецу-звездочету Варсонофьеву, который некогда в начале «Августа Четырнадцатого» напутствовал Саню, уходившего добровольцем в армию. Тогда он загадал притчу: кабы встал — я б до неба достал; кабы руки да ноги — я б всю землю связал; кабы рот да глаза — я бы все рассказал?

Теперь дает и разгадку: «Это — дорога... Дорога, что есть жизнь каждого. И вся наша история. Самое каждодневное — и из наибольших премудростей. На один-два шага, на малый поворот каждого хватает. А вот — прокати верно всю Дорогу. На то нужны — верные, неуклонные колеса».

И тут вновь в остатный раз возникает сквозной образ эпопеи — Красное Колесо:

«по колеса могут катиться и без Дороги, — возразил Саня.

— Вот это-то самое и страшное, — тяжело кивнул Варсонофьев».

Тогда не выдерживает «душа» разговора — Ксенья, едва не умоляя спрашивающая:

«но может случиться и чудо?..

— Чудо? — сочувственно к ней.

— Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылаются чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит. Боюсь, что мы нырнем — глубоко и надолго» (2, 532).

После ухода молодых разбегенное сознание Варсонофьева, готовящегося к скорой смерти, продолжает работать над заданными им вопросами, между тем он еще составляет как бы продолжающий знаменитые «Вехи» историософский сборник, в котором явственно видится нам книга «Из глубины», где среди прочего стремится выразить свою задачу так: «Но вот наш плен: хотя это и мелко — держаться на уровне событий, проприквиваемых газетами, — а только через земные события мы можем вести и космические битвы» (2, 553).

А в последней, 186-й главе «Апреля» другой заглавный герой эпопеи — полковник Воротынец, — идучи по городскому валу города Могилева, где покуда еще располагается Ставка, размышляет о конечных судьбах Отечества так:

«Родина моя! Нерадиво мы тебе служим. Дурно...

А вот уже: прославленная Тройка наша — скатилась, пьяная, в яр — и утонула в оглоблях в глину...

Кажется: все — хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны? и не знаешь, где быть, где стать?

А плечи — опять распрямилась. Нет, впереди — что-то светит. Еще не все мы просадили.

Но — на какой развилке спешить? И уложить себя — под какой камень?» (2, 556—557).

Это — самые последние слова «Апреля».

КОЛЕСО КАТИТСЯ К НАМ

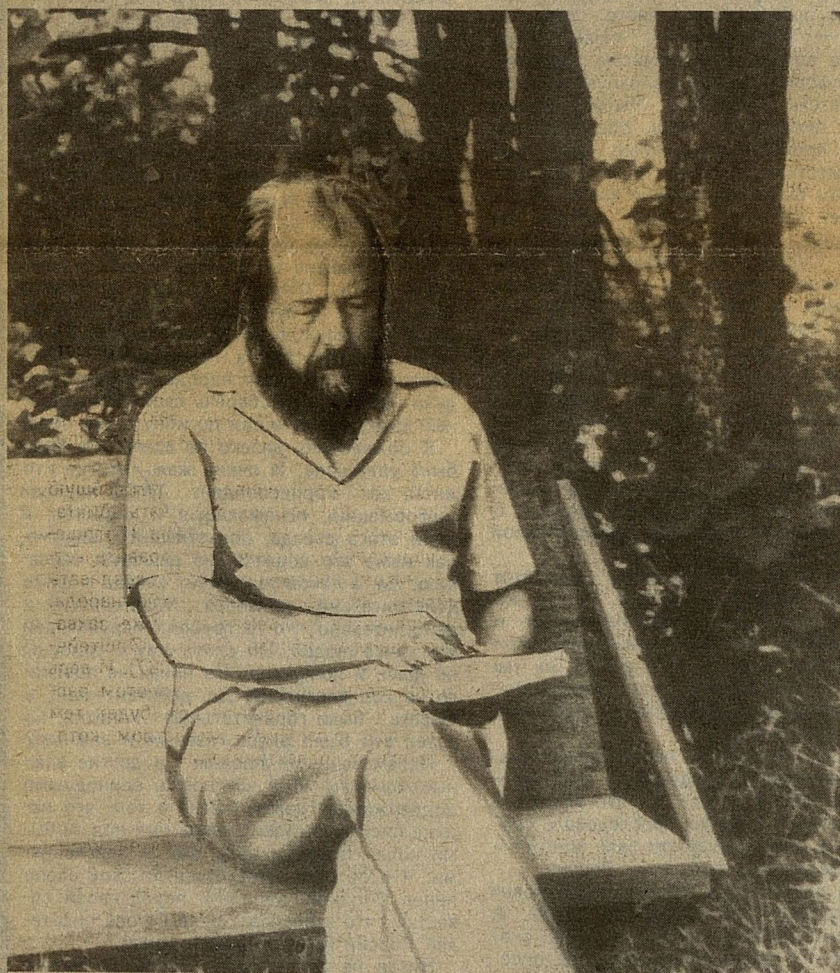
Ежели говорить о недостатках книги — ведь без греха на сем свете жил один только Иисус — то главным из них может быть названа ее совершенно небывалая во всей предыдущей российской художественной словесности протяженность. Но и в ней есть некоторый весьма необходимый урок. Стоит хотя бы взглянуть на последние строки уже не «Апреля», а всего «повествования»:

«ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ (1928 г.)
ЭПИЛОГ ВТОРОЙ (1931 г.)
ЭПИЛОГ ТРЕТИЙ (1937 г.)
ЭПИЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ (1941 г.)
ЭПИЛОГ ПЯТЫЙ (1945 г.)»

Ясно, что не попросту за отсутствием жизненного времени эпилог остался не написанным. По сути дела главный и не названный эпилог «Колеса» происходит из наших глаз и в самой насущной современности — эпопея раскрыта нараспашку в нынешний российский день. Потому-то, кстати, ее порою даже тяжело дочитывать — в изначально настроенной к добру душе все бродит надежда — а может быть, обойдется, вдруг да и случится что-то иное? Больно уж неладен этот навязчивый и бездарный повтор на советский лад... Разве это не картина Москвы 1991-го: «Жители становятся в хлебные очереди и с карточками... Из продажи повсюду исчезли дрожжи. Стало не хватать молока. Милиционеры с красными карточками обходят лавки... Возник острый недостаток бумаги для газет. Социалисты стали захватывать ее на складах самовольно, с дракой» (1, 236—237). «Заседание продовольственного комитета... «Весьма вероятно, что помощь придет к нам скорей из Америки, чем из России» (2, 338).

«КРАСНОГО КОЛЕСА»

ЭПОПЕЯ СОЛЖЕНИЦЫНА ОКОНЧЕНА. КОЛЕСО КАТИТСЯ ДАЛЬШЕ



А. И. Солженицын.
Еще в России...

с венниками — как царь, так и царица — тем самым обрекая их впоследствии с детьми на мученическую гибель.

Вот в такой обстановке и начинают внутри армии и всего народа появляться уродливые новообразования, которым предстоит на долгие десятилетия заменить собою здоровое древо жизни. Солженицын с дотошностью историка и в то же время художественно очень чутко показывает их в моменты самого зарождения. Например, каким образом проклюнулось на свет одно из краеугольных понятий будущей советчины: Совет собирает в Таврическом дворце «какое-то «создание фронтовых частей», случайный сброд вот таких делегаций, а как будто они уже представляют всю Действующую армию. Вели это совещание какие-то Липеровский, Лопуховский и Клоповский, ни одного известного имени, а выносятся резолюция, якобы всеобщей значимости... послать на все фронты и во все армии комиссаров с самыми широкими полномочиями, и требо-

тороплюсь уплачивать по этому счету... остается соболезнующе пожать плечами...» — и становилось почему-то не по себе» (2, 485).

За подобными словами с необходимостью следуют и соответственные новые дела: «Началось с представления, в каком нуждаются массы: вручение красного знамени от завода «Динамо» какому-то сибирскому полку... на эстраде растянули знамя, чтобы видно было надпись: «за свободу, равенство и братство», чтобы солдаты знали там, за что они борются» (2, 291).

Действия в свой черед перерастают уже и в действие — как затеянная «советскими вождями» первомайская демонстрация — хотя их европейские учителя на время военных действий сами подобные праздники и отменили: «полумиллионное шествие — что-то в нем страшное есть. Страшное — в своей организованности: что в определенный день и час полмиллиона жителей, да даже боль-

но будет катиться, вперед ли, назад ли, — до конца, до самой стенки» (1, 504).

Главной мечтой революции становится социализм — и вот как оценивает его носителей известный кадет Изгоев: «Российский социализм показал, что он умеет разрушать — а созидать бессилень. Социалисты проявили себя как толпа бездейных насильников, своекорыстных и тупых невежд... Теперь мы много говорим о ленинстве. Да, большевики уже создали свою красную сотню — рабочую гвардию, — тысячи вооруженных рабочих, проводить революцию социальную. Но большевики — не отдельное что-то, они только сделали крайние — и последовательные — выводы из российского безродного социализма» (2, 412).

Профессор истории Андозерская, вспоминая слова Ипполита Тэна о том, что во времена мятежей «случайная уличная толпа считает свою волю народной и готова на любую низость», — глядит на происходящее вокруг не с сиюминутной точки зрения, а с высоты строгой монархической идеи. Она ходит даже послушать того же Ленина и выносит такое впечатление от его речей: «разочаровывающе мелкая фигура, картавость, бесцветный, крикливый голос, — но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое незыблемое. При полном бездействии власти, при разрушенном управлении — этот рычаг может сильно сработать, неуместно смеяться над ним». И главным чувством, которое постигает ее от лицемерия происходящего, оказывается стыд: «Ей стыдно было за неведомые жественные словеса, бесчисленных революций. За такую явную униженность совсем не уважаемого ею Временного правительства, что ни день исторгающего пустопорожние растерянные воззвания. И стыдно за власть темной кучки Исполнительного Комитета — надо всей России (наконец опубликовали список, там все не оказалось известных имен, и скандально мало русских. Во Франции хоть этого не было). И стыдно — даже за его безвластие. Все было до того карикатурно-мерзко, что когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел Соловьем-разбойником, этим свистом сырая фиговые листочки и с самого Исполнительного Комитета, — так хоть дохнуло чем-то грозно-настоящим: это по крайней мере не была карикатура и не ползанье на брюхе. Это был — нескрываясь обнаженный кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вел на смерть России» (1, 344—345).

Постепенно осатанение, ускоряющее ход Красного Колеса, становится всеобщим. И если первыми раскрутками несомненно были представители образованных слоев, то мало-помалу все большее участие в разорении страны принимают и простые люди — что во множестве главков, отрывков или даже короткими строками повременной печати удручающе наглядно показывает нам «Апрель». Поэтому горчайший итог, подводимый одним

Солженицын А.

4.10.91